



Л. В. КРУТИКОВА

«...В этом злом и прекрасном мире...»

В судьбе и творчестве Бунина, достойного преемника и продолжателя традиций русской литературы XIX века, по-своему отразилась круто ломавшаяся жизнь России и всего человечества.

Меривший жизнь самой высокой мерой, Бунин, страстный и нередко пристрастный человек, почти всегда с негодованием и даже ненавистью говорил о революции. Он спорил с историей, с веком, с современниками. Но, отвергая революционное пересоздание жизни, отвергая любое насилие, художник непрестанно мучился трагедиями нашего столетия. Он безмерно страдал в годину зловещих мировых войн, страдал, что слово художника, когда гремят орудия, становится бессильным. Он мучился трагедией поработченных и больше всего — трагедией веками замученного русского народа.

Художник неустанно, до боли сердечной разгадывал загадки национальной истории, думал о необходимости обновления мира и человека, обрекал себя «на новые пути, на новые скитанья» в поисках заветной Атлантиды. Тем самым он служил идеалам справедливости, добра и красоты. Недаром М. Горький всегда так высоко ценил великий талант Бунина, его поэзию и прозу, которые «раздвигали пред русским человеком границы однообразного бытия, щедро одаряя его сокровищами мировой литературы, прекрасными картинами иных стран, связывая воедино русскую литературу с общечеловеческим на земле»*.

Многое пережил и перевидел Бунин на своем долгом веку. Многое вместила его редкая память, на многое откликнулся его великий талант. Деревенская и провинциальная глушь Средней России и страны Западной Европы, жизнь русского крестьянина, цейлонского рикши и американского миллионера, древние

* Переписка А. М. Горького и И. А. Бунина // Горьковские чтения. 1958—1959. М., 1961. С. 69.

сторожевые курганы Дикого поля, места, где бились полки Игоревы, и Греция, Египет, Сирия, Палестина, окраины Сахары, пирамиды Хеопса, развалины Баальбека, тропики, океан... Словами любимого поэта Саади говорил Бунин о себе: «Я стремился обозреть лицо мира и оставить на нем чекан души своей». Не было, пожалуй, другого писателя, который бы столь родственно воспринимал и вмещал в своем сознании далекую древность и современность, Россию, Запад и Восток.

Дворянин по происхождению, разночинец по образу жизни, поэт по дарованию, аналитик по складу ума, неутомимый путешественник, Бунин совмещал, казалось бы, несовместимые грани мировосприятия: возвышенно-поэтический строй души и аналитически-трезвое видение мира, напряженный интерес к современной России и к прошлому, к странам древних цивилизаций, неустанные поиски смысла жизни и религиозное смирение перед ее непознаваемой сутью.

Окончив всего четыре класса елецкой гимназии, до 19 лет почти безвыездно жил Бунин в деревне, среди крестьян и мелкопоместных дворян. Отъединенная, замкнутая, бедная, казалось бы, жизнь... Но как обогатила, как напитала она будущего писателя. Полевые просторы, степные дороги, хлеба и травы, каменистые речки, овраги, пруды, крестьянские заботы и радости... Бутырки, Озерки, Каменка, Глотова, большое село Воргол, деревня Огневка, Елец, Ефремов... Там — истоки и прообразы его лучших книг: «Деревни», «Суходола», «Жизни Арсеньева», многих рассказов.

Близко общаясь с природой и народом, слушая сказки, повесть, песни, рассказы родных, дворовых и окрестных крестьян, с детства узнал и навек полюбил Бунин неброскую русскую природу, русское слово, русскую душу, русскую литературу. Природа, фольклор и литература (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Л. Толстой, Гомер, Сервантес, Лонгфелло, Гете) заменили ему университет, формировали вкус, зоркость глаза и слуха, обогащали духовный опыт, безмерно расширяли представление о мире. Под влиянием природы и фольклорно-литературной стихии росла та сосредоточенность, одухотворенность и «музыкальность» внутренней жизни, что вела его к вершинам поэзии. Там же — в Бутырках, Озерках, Каменке, Ельце — впервые почувствовал будущий писатель сложность отечественной истории, русских нравов и русских характеров — то, о чем он так много думал и писал впоследствии.

Вдали от России, во Франции (то в Париже, то в Грассе) провел он последние тридцать лет. Но и на склоне дней помнил он

свои истоки, свою «начальную любовь». Знаменитый, почти весь мир изъездивший писатель воскресил в итоговой книге далекое прошлое, ту Среднюю Русь, что была его колыбелью. В «Жизни Арсеньева» сошлись начала и концы.

Но путь Бунина к вершинам искусства был долог. Не сразу обрел писатель свой поэтический голос, не сразу начал писать о том сокровенном, что таилось в его душе. Не сразу удалось ему осмыслить те впечатления, какие дали ему детство и юность, проведенные в деревне. Рассказы и стихи, печатавшиеся в 1890-е годы и вошедшие в сборники «На край света» и «Под открытым небом», были одобрительно встречены критикой, но в них еще чувствовалась сковывающая власть традиции, непреодоленных идей народничества и толстовства.

Мощное дарование Бунина поначалу раскрылось в переводе «Песни о Гайавате» (1896), переводе, до сих пор остающемся непревзойденным. Из оригинальной прозы тех лет выделяется путевой очерк-поэма «На Донце» («Святые Горы»). В нем впервые освободился писатель от традиционных тем и образов, от элементов чужой поэтики. Впервые обрел он ту даль свободного повествования, когда люди, природа, история, быт, поэзия, настоящее и прошлое слились в нераздельное целое, объединенное единством авторского восприятия мира. Впервые зазвучала в рассказе одна из сокровенных проблем всего бунинского творчества — проблема потаенных, корневых связей человека с прошлым — историческим, культурным, природным. Более сложно, чем в других ранних рассказах писателя, была изображена народная среда. Три различных характера, три почти несовместимых отношения к жизни — Бунин начинал вглядываться в разнородную Русь.

К началу XX века крепнут личность и дарование Бунина, складываются самобытные основы его мироотношения и эстетики, расширяются его литературно-художественные связи. Он дружит с Чеховым, знакомится с Горьким, Куприным, южнорусскими художниками, участвует в литературном кружке «Среда», печатается в демократическом издательстве и сборниках «Знание». Бунин-поэт и Бунин-прозаик властно заявляет о себе сборником стихов «Листопад» (1900), рассказами «Антоновские яблоки», «Сосны», «Сны», «Золотое дно». Его влечет «прекрасное и вечное», «любовь и радость бытия», красота и неповторимость отдельного мгновения как в природе, так и в человеческой душе.

Однако увлеченность вечным и прекрасным приглушала в раннем творчестве Бунина остроту социально-политических проблем и конфликтов, которыми жили современники. Горький,

оценивая высоко «Листопад» и «Антоновские яблоки», сожалел, что нет в них «возмущения жизнью», нет «сегодняшнего дня».

Бунин шел к «возмущению жизнью» по-своему: путем осмысления мировой истории, путем освоения тысячелетней культуры, путем обретения устойчивых идеалов. И через несколько лет, в годы реакции, позиция Бунина оказалась куда более прочной, трезвой и достойной, чем у иных «знаньевцев». Горький сразу оценил это и выделил Бунина среди растерявшихся современников. «Только Бунин верен себе», — писал он в 1907 году.

Как показало время, Бунин не был далек от социальных потрясений современности. Он следил за всем, что происходило в стране в бурное время революции и реакции. Всеобщая забастовка, царский манифест, баррикады, восстания, бесчинства черносотенцев и погромщиков, меняющиеся настроения в деревне и в столицах — все занимало писателя.

Но в книгах увиденное отразилось не сразу. Лишь публицистически-страстные стихи, где появились мифологические и подлинные герои прошлого (Эсхил, Каин, Магомет, Прометей, Джордано Бруно), передавали настроения писателя, которому оказались близки мятежные и дерзновенные натуры. Первое свидетельство глубоких раздумий Бунина о революции, реакции и русской истории — стихотворение «Пустошь» (1907). Злободневные события, «время зверств, расстрелов, пыток, казней» предстают как трагедия миллионов, как трагедия нации в целом, где все — даже лучшие люди — отмечены «клеймом раба, невольника, холопа».

Многое передумал, перечитал и перевидал художник не только в России, но и в странах Европы и Ближнего Востока, прежде чем начал писать «Деревню» — самую социально острую, скорбную и высокогражданственную книгу.

«Деревня» (1910) принесла автору шумный, но нерадостный успех. Книгу хвалили, но ее глубинной сути не понимали. «И хвалы и хулы показались так бездарны и плоски, что хоть плачь» *, — писал Бунин Горькому. Горечь художника понятна, ибо «Деревня» вобрала всю боль и скорбь, всю силу негодующей авторской мысли и горькой, мучительной любви к России, ее замученному народу.

События в повести разворачиваются в годы революции и реакции (1904—1907). Но думы автора и героев непрестанно обращаются к прошлому. В сложности русской истории, в вековом рабстве, в наследии крепостничества ищет Бунин истоки запутанных

* Там же. С. 60.

коллизий современности. «Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж и взыскивать с этого народа? — думает самоучка-правдоискатель Кузьма Красов. — Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!» *. Эта мысль об ответственности народа за свою судьбу и судьбы России многократно варьируется в повести, прорываясь криком боли в неразрешенном споре Балашкина и Кузьмы. По-своему повторяя мартиролог русской литературы, когда-то составленный Герценом: «Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев?», Балашкин яростно вопрошает: «Скажешь, — правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?» — «Величайший народ, а не “такой”» — возражает Кузьма. — «Ведь писатели-то эти — дети этого самого народа» (III, 67—68).

Спор ничем не кончается. Бунин далек от поспешных и односторонних выводов. Он вовлекает читателя в мучительные и скорбные размышления о сложности русской истории, русского быта, русских характеров. Он уверен в одном: жизнь народа и России нуждается в радикальных изменениях. Но многомиллионные массы, казалось писателю, еще не подготовлены к гражданской активности, к разумному устроению своей судьбы.

С великим мужеством и беспощадностью свидетельствовал Бунин, какую бездну преград предстоит одолеть русскому народу: не только экономических, бытовых, социальных и политических, но и нравственных, психологических — в способах мышления и чувств, в нравах и представлениях о жизни, в верованиях, привычках и побуждениях миллионов. Отвергая революционные формы обновления жизни и ощущая неизбежность новых вспышек народного гнева, писатель мучился неразрешимостью противоречий, что придавало скорбное, трагическое звучание всей книге. «Дорог мне этот скромно скрытый, заглушенный стон о родной земле, дорога благородная скорбь, мучительный страх за нее», — писал Горький, прочтя «Деревню» еще в журнальном варианте **.

Никчемны и бесплодны итоги прожитой жизни многих героев повести — братьев Красовых, Иванушки, Серого, Молодой. «Страшный в своей обыденности быт», социальное бесправие,

* Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1965. Т. 3. С. 78. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

** Горьковские чтения... С. 53.

нищета и бесхозяйственность, невыработанность устоев и характеров калечили многих талантливых людей. Тем важнее было осмыслить их печальный опыт последующим поколениям. За это насущно необходимое пробуждение исторического и гражданского самосознания нации оценил «Деревню» Горький: она заставила «разбитое и распатанное русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом — быть или не быть России?», она заставила «мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически»*.

После жгуче современной «Деревни» Бунин почти сразу стал писать «Суходол» (1911) — книгу об ушедших временах крепостного права, о жизни, оскудении и вырождении мелкопоместных дворян.

В новой книге нет «густоты», перенасыщенности, нервозности «Деревни». «Суходол» — более спокойная, уравновешенная, поэтически одухотворенная книга. Суровая правда не лишала ее открытого лиризма, поэзии родного края. Прообразом Суходола послужило родовое имение Каменка, а в нравах и судьбах Хрущевых угадываются факты из истории предков Бунина.

Вглядываясь в прошлое, писатель стремился понять, почему так быстро исчезло, разорилось и выродилось целое сословие мелкопоместных дворян. Дело было не только в экономике, в отмене крепостного права. Бунин ищет корни более глубокие, его все больше и больше занимает национальная психология, «русская душа», «ее светлые и темные, часто трагические основы».

Размышления о суходольской душе, «над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта <...> древней семейственности» (III, 136), возникают в первой главе и, варьируясь, проходят через всю книгу, образуя философский фундамент повествования.

Мотив удивления, тайны, странностей, которые предстоит разгадать, главенствует в повести. С первых же строк («В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу» — III, 133) автор вводит в сферу необычного, сложного, странного. Странной кажется привязанность Натальи, тети Тони и даже Аркадия Петровича, отца молодых Хрущевых, к Суходолу, к родовой разоренной усадьбе, где столько горя видели они. Странными были и взаимоотношения людей в Суходоле: дед был убит незаконным сыном своим, от несчастной любви сошла с ума тетя Тоня, нелепо погиб Петр Петрович. Странными, непонятными были характеры людей, совмещавшие в себе и доброту, беззаботность, меч-

* Там же.

тательность, и жестокость, своеволие, капризность, и смирение, долготерпение, покорность.

Русский характер... Основы души и поведения человека... Трудные, до сих пор до конца не познанные тайны человеческой психики затронул Бунин в «Суходоле». Потому, видимо, и волнует нас повесть сегодня, что не только о суходольцах, а об истоках и основах национального характера, о человеческих страстях вообще размышлял писатель.

Тонем повествования, богатством интонаций и даже сменой голосов (рассказ ведется то от автора-рассказчика, то от Натальи, то от молодых господ) настраивал писатель на многосложное восприятие суходольской жизни — аналитически-трезвое и поэтически-трепетное, взволнованное. В «Суходоле» легко, непринужденно подхватываются и развиваются разные темы, а глубина постижения их во многом зависит от соразмышления и соучастия читателя, к которому обращены и недоуменные риторические вопросы, и развернутые лирические отступления, и сложный ряд ассоциаций, деталей-лейтмотивов, образов-обобщений. Каждая из десяти глав имеет свой сюжет, свои ведущие и побочные мотивы, свою тональность, ритм, образный строй, даже лексикону.

Дыханием вековой старины пронизаны первые три главы, образующие эмоционально-философское вступление к суходольской летописи. Сказочно-древняя Русь с ее преданьями, поверьями, песнями. В них — вся история и душа народа, ибо все другое, содеянное им, исчезало бесследно: выращиваемый хлеб съедался, выкопанные пруды высохали, жилища не раз сгорали дотла. А где царят легенды, песни, сказки, непознанные силы природы — там непременно возникают романтические, экзальтированные чувства.

Суходол как символ русского бытия, и дворовая Наталья, возвращенная поэзией и дикостью суходольской, — два вершинных образа, в которых сказалось сложное представление Бунина о России и русском характере. Суходольская жизнь полна ужасов и дикости. Но есть в ней и другое — поэзия, красота, беззаботность, старина, очарование степных просторов, их запахов, красок, звуков. Хранительница многих преданий и талантливая сказительница, Наталья дополняет галерею русских женщин, воспетых русской литературой. Однако Бунин и здесь вносит свои коррективы, изображая Наталью «во всей ее прекрасной и жалкой душе» (III, 141). Воспринимая мир и любовь по сказочно-романтическим и религиозно-первобытным канонам, Наталья все силы своей богатой натуры растрчивает впустую, наполняет

жизнь призрачными, выдуманнными чувствами, добровольно принимает роль великомученицы.

Особенно поражают взаимоотношения Натальи и тети Тони, Натальи и циника Юшки. Невольно думаешь: до каких невыслышимых границ могли доходить безропотная покорность одних и наглая требовательность других!

Своеобразной кульминацией повести становится восьмая глава, где появляется целый ряд колдунов, юродивых, божьих угодников, странников, бродяг — многоликих представителей древней и полудикой Руси. Все они, как и суходольцы, «играли роли», одни, действительно используя силу заговоров, заклинаний, примет и причитаний, глубоко веруя в целебность первобытного волхования, другие, своекорыстные, притворялись блаженными и святыми, используя слепую веру окружающих в угоду своей праздности и лени. Среди них выделяется Юшка, бездельник, циник, охальник, — символически зловещая фигура тех деспотически-своевольных сил, которые расчетливо пользуются радушием, жалостью, добротой и безграничным терпением наивных простолюдинов.

Дворянин по происхождению, влюбленный в поэзию дворянской старины, Бунин безжалостно разрушал поэтические легенды о дворянских усадьбах, о старой, патриархальной, будто бы домовитой Руси. «Мы знаем дворян Тургенева, Толстого, — говорил писатель. — По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев, и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры»*. Суходольские дворяне — совсем иные. Семейная хроника Хрущевых свидетельствовала, что ни порядка, ни домовитости, ни подлинного хозяина не было в Суходоле. «У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться» (III, 160). Изнутри рушились крепостнические устои. «По-новому предстояло жить и господам, а они и по-старому-то не умели».

«Не прошла еще древняя Русь» — таким эпиграфом открывал Бунин сборник рассказов, созданных после «Деревни» и «Суходола». Его волновали по-прежнему мысли о России, о народе, о русском характере — мысли тревожные, полемически страстные.

«Захар Воробьев», «Древний человек», «Ночной разговор», «Забота», «Веселый двор», «Худая трава». Самые обычные жизненные ситуации, самые обыкновенные крестьяне, поглощенные

* У академика И. А. Бунина. Беседа // Московская весть. 1911. 12 сентября. № 3. С. 4.

будничными делами и заботами. Все, казалось бы, давно знакомое — скудный быт, нищета, произвол, несправедливость. Но в привычном, простом, обыденном Бунин открывает сложное, значительное, трагическое.

Незамысловатую жизнь крестьян Бунин изображает как бытийно значительную, таящую загадки национальной истории. В русском крестьянине и русском человеке вообще Бунина восхищали богатство натуры, талантливость, своеобразный артистизм, наивность, непосредственность и вместе с тем настораживали неразвитость сознания, стихийность чувств, невозделанность личности. Писатель с горечью отмечал смешение разнородных начал в народной жизни: недовольство обыденным и примиренность с нечеловеческим существованием; мечтательность, желание подвига, высокий порыв и быстрая утомляемость, переменчивость настроения; доброта, долготерпение одних и безмерное своеволие, капризность, беспощадный деспотизм других. А в результате — непрактичность, бесхозяйственность, крайний максимализм, неумение выбрать дело по силам, отсутствие прочных культурных традиций в быту, семье, хозяйстве.

Таковы многие герои бунинских рассказов: Захар Воробьев, вся душа которого, «и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига» (IV, 43), бескорыстная Анисья, безропотно выносившая все тяготы жизни и беспредельно любившая то мужа-пьяницу, то капризного сына («Веселый двор»), талантливая, поэтическая натура Парашки («При дороге»), трудолюбивый Авдей Забота («Забота»), долготерпеливый и незлобивый Аверкий («Худая трава»). Все они — сильные, выносливые, талантливые. Но у всех почти жизнь складывается безрадостно, неразумно, обрывается трагически-бесплодным концом.

Русский характер и русская нация в массе своей предстают в рассказах Бунина как богатая, но невозделанная почва. На ней появляются сильные побеги, но, не получая необходимой духовной поддержки, вырастают дичками или погибают, не успев расцвести.

Лишь в двух рассказах — «Лирник Родион» и «Хороших кровей» — раскрыл писатель целесообразную направленность внутренних сил русского человека. Лирник Родион и коновал Липат достойно реализуют свои способности: один радуется людям пенем, другой лечит животных, смиряет, уравнивает «буйные силы природы». Оба находятся в ладу с миром, собой и природой. Лирник Родион был из тех немногих людей, для которых вся жизнь — «рождение, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение», мечта и песня. «Он принадлежал к тем ред-

ким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера» (IV, 158). На развитие этих человеческих качеств возлагал надежды писатель.

В 1910—1916 годах талант Бунина рос необыкновенно. «Он так стал писать прозу, что если скажут о нем: это лучший стилист современности — здесь не будет преувеличения», — говорил Горький*.

Вслед за Чеховым Бунин обновлял жанр рассказа. Он упрощал событийный сюжет, лишал рассказ внешней занимательности, главное внимание уделял мироощущению героев. Бытовую повседневность писатель возводил до философского смысла, в буднях, в бытовых мелочах, в привычном способе мышления людей искал он разгадки многих трагедий.

Богатством деталей, неожиданным сопоставлением сцен и персонажей, ритмико-интонационным разнообразием, сменой планов и масштабов изображения писатель добился такой смысловой емкости рассказов, что один день или несколько эпизодов давали представление не только о судьбе и прожитой жизни героя, но и о России, об общем состоянии мира, о разноплановости бытия.

Даже в рассказе «Забота», где над всем царит однообразие хозяйственных забот и тревог, которые жену Авдея сделали за долгую жизнь страдальцей», его — «нелюдимом» (IV, 83), появляются детали и подробности иного смысла. С угрюмо озабоченным Авдеем контрастирует беззаботно радостная дочь, собирающаяся на девишник, беззаботно играющие мальчишки, бездельники-охотники. Но главные токи радости, красоты, многообразия, как всегда у Бунина, исходят от природы. «Под скатом мелкая речка разливается широким плесом <...>. Плес ослепительно блестит; желто-каменистый подъем за ним весь в зеркальных веселых разводах, в медленно переливающихся отражениях» (IV, 85). Это радостное, красочное видение автора противопоставляет восприятию героя, который «глядит, но видит все как во сне. Он от горя ко всему равнодушен — как больной» (IV, 85).

В бунинском рассказе аспект восприятия героя всегда осложнен, обогащен авторским видением. Автор ведет читателя в сложный, богатый, до конца не распознанный мир и тем самым учит читателя открывать в обычном необычное, удивительное, сложное.

Наибольшей емкости и высшего социального накала достигло искусство Бунина в небольшом рассказе «Старуха» (1916). В

* Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 29. С. 228.

этом маленьком шедевре писателя значимо все: первая фраза с ее фольклорно-песенной интонацией, выражающая истинность непритворного горя старой служанки, плач которой проходит шестикратно повторенным лейтмотивом через весь рассказ; и пошлость обстановки мещанского дома, и эпизодическая фигура квартиранта, учителя прогимназии, который в классах драл «детей за волосы», а дома усердно «работал» над большим, многолетним сочинением: «Тип скованного Прометея в мировой литературе» (IV, 413); и «больная тропическая птичка» с ее тонким и грустным сном, который оттеняет тяжкий и злой сон хозяев; и вся атмосфера пошлости и притворства, царящая в столице с ее разлитым морем веселья, соотнесенная с народными бедами: плачем старухи, горем оборванного караульщика, у которого убиты были на войне все сыновья, «четыре молодых мужика», горем деревни, где «в непроглядных полях, по смрадным избам, укладывались спать бабы, старики, дети и овцы...» (IV, 414). Все изображенное пронизано такой силой авторского негодования, боли и скорби, что эти три страницы по праву могут стать рядом с гневно-скорбными стихами о России Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, с прозой и публицистикой Чаадаева, Белинского, Герцена.

Первая мировая война усилила тревожные раздумья писателя о России и судьбах всего человечества.

От России взор писателя вновь устремляется к другим векам и странам, к другим народам, культурам и цивилизациям. Бунин сближает историю и современность, сталкивает людей разных стран и вероисповеданий, оценивает жизнеспособность той или иной цивилизации по уровню сформированной личности. Англичанин и цейлонский рикша («Братья»), американские миллионеры и итальянский народ («Господин из Сан-Франциско»), немецкий естествоиспытатель («Отто Штейн»), русский консул на Цейлоне («Соотечественник»), простая забитая прислуга («Старуха») — таков диапазон раздумий писателя о человечестве.

На резких социальных контрастах построены многие рассказы Бунина. Резкие публицистические монологи, обличающие несправедность буржуазного мира, врываются в повествование. «“Горе тебе, Вавилон, город крепкий!” — эти страшные слова Апокалипсиса неотступно звучали в моей душе, когда я писал “Братья” и задумывал “Господина из Сан-Франциско”, — вспоминал писатель*.

* Письмо к Боссару 21 июля 1921 г. (см. наст. изд., с. 29).

Библейским пророчеством гибели буржуазного мира, основанного на власти богатого меньшинства, жестокости и бездушной техники, веет от рассказа об «Атлантиде» и американском миллионере, принадлежавшем к тому отборному обществу, «от которого зависят все блага цивилизации: и фасон смокингов, и прочность тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей» (IV, 487). С толстовской беспощадностью изображает Бунин, как «путешествуют», то есть одеваются, переодеваются, завтракают, обедают и ужинают господин из Сан-Франциско и люди его круга. Маски, куклы, механические люди, фальшь и притворство (даже танцующая пара нанята «играть в любовь за хорошие деньги») царят в этом мире, где ценится не самобытная личность, а власть, богатство, положение.

Утончились способы власти и обогащения, появились чудеса современной техники. Но не исчезли в новом мире преступность, несправедливость, деспотизм, что подчеркивает писатель сопоставлением «отборного общества» современной знати с кровавой тиранией Тиберия, диктатора рабовладельческого Рима.

Завершается рассказ предельно просто. Но символика каких социально-философских обобщений скрыта в этой простоте! Двигается в небытие гибельная бездуховная машинная цивилизация — многоярусный океанский теплоход «Атлантида» с его чудовищными контрастами, фальшью, мертвенностью и глухотой к тому, что совершалось вокруг, в бушующем безбрежном океане.

Бунин один из первых художников XX века прозревал гибельную опасность одностороннего развития буржуазно-промышленной стихии, попирающей первооснову живой природы и подлинные духовные ценности. И не потому ли тьме и фальшивому блеску огней «Атлантиды» писатель противопоставлял живую солнечную Италию и ее простых людей — беззаботного рыбака Лоренцо и абруццских горцев, не утративших естественного, радостного и поэтического восприятия мира?

В самых мрачных рассказах Бунина звучали не страх и отчаяние, а предостережение людям и миру, поиски выхода из тупика.

Небольшой рассказ «Пост» — самый светлый и одухотворенный в прозе писателя тех лет — дает представление о высоте его устремлений. Радость творчества, радость единения с миром («все в мире — мое» — IV, 418), чувство ответственности за свой талант — вот те духовные ориентиры, которым следовал писатель.

Предчувствуя крах самодержавно-буржуазной России, он, однако, не видел реальных сил, способных перестроить русскую жизнь. Ненависть к деспотизму и своеволию оборачивалась у Бунина отрицанием любого насилия. Все это и привело писателя

к неприятию революции. На иных, эволюционных и бескровных путях просвещения, гражданского, этического и эстетического воспитания масс искал он возможности искоренения социального зла.

Сразу после октября 1917 года Бунин занял враждебную позицию по отношению к молодой Советской республике. В 1920 году он покинул Россию, оставшуюся часть жизни провел во Франции. Однако талант Бунина не иссяк в эмиграции. Писатель уехал из России сложившимся художником, с большим запасом жизненных впечатлений, со своим представлением о мире, с целым рядом неисчерпанных тем.

Отказавшись от исследования социально-исторических проблем народной жизни, Бунин перешел к изображению внутреннего мира отдельной личности, красоты и сложности человеческой души. Рассказы о любви («Митина любовь», «Натали», сборник «Темные аллеи»), о духовной красоте русского человека («Косцы», «Лапти», «Божье древо»), философские эссе, короткие рассказы, необычная по жанру «Жизнь Арсеньева», книга о Л. Толстом и незаконченная о Чехове — таковы итоги тридцатилетней творческой жизни писателя вдали от России.

В горестные дни эмиграции, когда писателю исполнилось 50 лет, задумал он «Жизнь Арсеньева», свое итоговое произведение — книгу воспоминаний, осмысления прожитых лет. Однако писать роман Бунин стал только в 1927 году, когда утихли боль и озлобление, когда снова набрали силу его Любовь и Память...

Ни одна книга не вынашивалась писателем так долго. Давними набросками к роману оказались рассказы 1906 года «У истока дней» и «Сон Обломова-внука». Еще тогда занимала Бунина тайна детского самосознания, первых мыслей ребенка о себе и мире. Философские размышления о смысле жизни, о любви, о связи времен и поколений, о памяти звучали лирической исповедью во многих произведениях 1920-х годов: «Неизвестный друг», «Ночью», «Книга», «Воды многие» предваряли «Жизнь Арсеньева», в них прорастали философские зерна романа.

Весь огромный жизненный и художественный опыт впитала в себя книга Бунина, его вершинное творение, своеобразное писательское послание-завещание потомкам.

«Жизнь Арсеньева» — произведение автобиографическое, в нем много фактов, деталей, примет из жизни самого писателя, его детства, отрочества, юности. В романе легко угадываются прообразы героев и тех мест, где происходит действие. Родной хутор Бутырки в романе назван Каменка, бабушкино имение

Озерки — Батурино. Не только отец, мать, братья и сестры Арсеньева восходят к реальным прототипам — родным Бунина, но и домашний учитель Баскаков, мещанин Ростовцев, торговец Балавин, Лика и еще многие другие герои имеют реальную первооснову.

Вместе с тем роман Бунина — не автобиография, а художественное произведение, где реальные подробности, одухотворенные творческой мыслью художника, утратили достоверную биографичность и обрели иной смысл, смысл общечеловеческий. Именно так характеризовал книгу сам Бунин: «“Жизнь Арсеньева” можно было бы вполне назвать “Жизнью Дипона” или “Жизнью Дирана”. Я хотел показать жизнь одного человека в узком кругу вокруг него. Человек приходит в мир и ищет себе в нем место, как и миллионы ему подобных... Арсеньев, Дипон, Диран, можете назвать героя как угодно, суть дела от этого несколько не изменится»*.

Задуманная как «книга моей жизни», как книга воспоминаний, «Жизнь Арсеньева» вбирала философские раздумья автора о сути бытия и становилась книгой лирико-философской. «Книги наших жизней легко смешать... И когда я говорю о моей жизни, я непременно говорю и о твоей», — замечал Бунин в набросках к роману. Это стремление совместить рассказ о конкретной жизни героя с осмыслением человеческой жизни вообще определяет оригинальность и жанровое своеобразие повествования. «Это не повесть, не роман, не рассказ, — отмечал К. Паустовский. — Это вещь нового, еще не названного жанра. Это — слиток из всех земных горестей, очарований, размышлений и радостей»**.

На первый взгляд книга Бунина традиционна. Писатель повествует, казалось бы, о самом простом, что знакомо каждому из живущих на земле. Младенчество, детство, юность, узнавание мира и поиски своего места в нем. О формировании личности ребенка и юноши создано немало книг в мировой литературе — Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстой, А. Герцен, М. Горький, Джек Лондон, Ромен Роллан. Но Бунин не повторяет своих предшественников, хотя и наследует их опыт. Рассказывая о детстве и юности Арсеньева, писатель открывает «что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни» (V, 179), в герое и в нем самом, человеке и художнике.

* Цит. по: *Бабореко А. И. А. Бунин: Материалы для биографии.* М., 1967. С. 49.

** *Паустовский К.* Предисловие // Бунин И. А. Повести. Рассказы. Воспоминания. М., 1961. С. 13.

Воспринять всю эмоционально-психологическую, философскую и эстетическую глубину «Жизни Арсеньева» нелегко. Она требует немалой эстетической культуры. Но вместе с тем книга сама помогает вдумчивому читателю обрести эту культуру, помогает самопознанию, саморазвитию ума и сердца, эстетическому освоению окружающего мира и человеческой души.

Бунинское искусство родственно музыке и живописи, оно симфонически сложно. Читателю приходится следить не за фабулой простыми событиями, а за созвучием многообразных, нередко контрастирующих деталей, тем, голосов, интонаций, передающих мощь и разнообразие жизни и человеческих переживаний.

Необычно начинается книга. Первая глава звучит библейски торжественно, в ней слово писателя сливается с мудростью древних книг и вековых преданий, с поэзией мифологических представлений и религиозных обрядов. Конкретные факты о судьбе Арсеньева прерываются рассуждениями о жизни и смерти, о связи поколений, о верованиях далеких предков и их заветах потомкам. Жизнь Арсеньева вводится в непрерывный жизненный поток и предстает как звено в цепи поколений, как частица вечного бытия — природного, исторического, вселенского. «Это стыдно, неловко сказать, но это так: я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства» (VI, 237). Постоянное ощущение глубинной связи личности с бесконечным, огромным и разнообразным миром придает книге Бунина небывалую масштабность, на что обратил внимание польский писатель Генрик Береза: «От первого до последнего суждения Бунин, говоря об одном человеке, рассказывает о России и вселенной» *.

Итоговыми размышлениями 50-летнего художника в первой главе Бунин сразу вовлекает читателя в круг сложных, до конца не разрешенных проблем: что такое жизнь, как она согласуется со смертью, в чем смысл вещей и дел человеческих.

Ни в одном другом бунинском произведении не было высказано столько догадок, предположений и недоумений по поводу человеческой жизни, ее личного и общезначимого смысла. Не случайно книга изобилует риторическими вопросами, пространными рассуждениями. Тон повествования непрестанно меняется, принимая то форму исповеди, откровения, поучения, то размышления, сомнения, то форму спора, то восторженного изумления, радостного восхищения, то печального недоумения и скор-

* Береза Г. Совершенство // Береза Г. Опыты чтения мировой литературы. Варшава, 1967. С. 63 (на польск. яз.).

би. Многообразием меняющихся интонаций настраивает Бунин читателя не только на сопереживание, но и на соразмышление. «У нас нет чувства своего начала и конца», — замечает Арсеньев-повествователь. Но тут же высказывает сомнение, выдвигает другие гипотезы. «Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет... любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?» (VI, 7). Эти полярные ощущения — своей безначальности, бесконечности, родства со всем зримым и незримым миром и столь же острое чувство конца, смерти, исчезновения — всю жизнь волновали художника. И в «Жизни Арсеньева» смерть (смерть подпaska, сестры Нади, Писарева, великого князя, Лики, любимой лошади) врывается грозным диссонансом иногда в самые ликующие моменты бытия героя, как бы все разрушая и обесмысливая. Первоначально даже самую суть жизни Бунин определял как борение со смертью: «Жизнь, может быть, дается нам единственно для состязания со смертью, человек даже из-за гроба борется с ней: она отнимает у него имя — он пишет его на кресте, на камне; она хочет тьмой покрыть пережитое им, а он пытается одушевить его в слове...» (VI, 326). Однако Бунин не ввел эти слова в окончательный текст. Состязание вечно торжествующей и бесконечной жизни со все обесмысливающей смертью не стало доминирующей проблемой книги, а образовало лишь мощный эмоционально-философский фон ее, превратилось в мотив трагически-прекрасного земного существования.

В книге появилось другое, более широкое и многозначное определение жизни как сложного, текучего потока, в котором каждый угадывает свой путь, открывает свой смысл, по-своему узнавая, наследуя опыт предков, опыт веков. И в главе первой, своеобразном философском зачине, рядом с мотивом жизни и смерти звучит радостно-гуманистическая тема преемственности и родственности поколений: «И разве не радость чувствовать свою связь, соучастие “с отцы и братии наши, други и сродники...”?» (VI, 8). Память объединяет поколения и становится той главной жизнетворческой силой, что противостоит любым разрушительным силам — времени, пространству, смерти, небытию, одиночеству.

Как находит Арсеньев свой жизненный путь, как обретает он свое писательское призвание, как происходит формирование его чувств, сознания, памяти, как образуется его «жизненный состав» — такова сюжетная канва книги.

Со всем блеском бунинского слова разворачиваются в романе картины бесконечно многообразного и сложного бытия ребенка и юноши Арсеньева, проводившего свои дни в узнавании мира

то в полевой усадебно-дворянской и деревенской глуши Средней России, то в гимназической и мещанской среде провинциального города, то в Орле, Харькове, Полтаве (среди мещански-буржуазных, либеральных и народнических кругов), то в скитаниях по Крыму, по местам древней Руси — Киеву, Донцу, Полоцку, Смоленску. Бунин берет Арсеньева в «истоках дней», в пору его начального созревания, когда ребенок и юноша лишь набирает силы, в радостях и горестях познает мир и себя в нем, с великими муками и счастливыми озарениями учится жить, ищет свой путь, свое призвание.

Арсеньев, да и многие его сверстники из дворянской и разночинной среды, не говоря уже о крестьянской, были лишены целенаправленно-мудрого воспитания и образования, устойчивых культурных традиций. Стихийно-случайным было его домашнее воспитание, казенным и скучным — обучение в гимназии. «Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно, не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось тупо, казенно» (VI, 65—66). Бросив гимназию, Арсеньев-подросток и юноша остается как бы наедине с миром и своими неоформившимися желаниями и влечениями. Это и дает возможность Бунину заглянуть в самые неизведанные глубины созревания души, таланта, личности, кои остаются до сих пор самыми таинственными и нераспознанными человеческими загадками при всех современных достижениях биологии, генетики и психологии.

Тайна формирования творческой личности, психология таланта занимали многих писателей и ученых XX века. В этом смысле «Жизнь Арсеньева» связана с передовыми исканиями и открытиями нашего времени. Бунин, например, чуть ли не впервые в искусстве заговорил о решающей роли памяти в развитии индивидуальности. Его интересовали память родовая, генетическая, наследственная, и память приобретенная, обогащенная всем опытом личного существования, и память образная, творческая, синтетическая, и сам процесс узнавания мира, избирательность памяти (что, когда и почему запоминает человек), качество влекущего и запоминаемого — то, что в конце концов и составляет основу личности. «Ничто не определяет нас так, как род нашей памяти» * — замечал художник. Тот род памяти, что идет из глубины веков и поколений, закрепляясь в наших эмоциях, инстинктах, способностях, даже в самом способе восприятия мира. «Слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь, — есть другое, бесконечно более богатое, то, с

* РГАЛИ. Ф. 44, оп. 3, ед. хр. 4, л. 92.

которым мы рождаемся» (VI, 13). Этот особый род «знания», восприимчивый, памяти, таящийся в подсознании, в глубинах психики, и пытается выявить Бунин, повествуя о формировании Арсеньева-ребенка и юноши.

Мы узнаем не только то, как влияет окружающий мир (природный, бытовой, социальный, национальный, культурный, исторический) на формирование героя. К этому мы были уже подготовлены предшествующей литературой — русской и мировой, которая пристально исследовала влияние так называемой среды на человека. Бунин приоткрывает и акцентирует другое — то, как изнутри человека происходит процесс «узнавания», постижения мира, как откликается сама душа, еще не сформировавшиеся личность и сознание на внешние впечатления бытия. И тут оказывается, что путь освоения мира человеком — не арифметически простой способ накопления любых знаний, впечатлений и навыков, а генетически, биологически и духовно сложный; в нем участвует все существо человека с его общеродовыми и индивидуально-личностными склонностями, потенциями и предрасположениями.

Бунин убеждает нас, что чувства, духовный опыт и даже сознание ребенка не только привносятся извне, а возникают изнутри, как бы «прорастают», раскрываются из внутренних глубин личности, но при непременно воздействии внешних впечатлений, возникают как ответ, как отклик на них.

Личность ребенка в книге — это как зерно или росток, брошенные в землю. В них многое заложено, закодировано, но прорасти, созреть, дать всходы и цвет они могут лишь в определенный срок, в определенных условиях, при определенных влияниях извне. Не случайно писатель сравнивает расцвет юноши Арсеньева с весенним расцветом дерева, когда «то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым особенно чудесно» (VI, 92—93). Бунин пытается уловить в ребенке и юноше ту «тайную работу души», перерабатывающей впечатления бытия, которая лишь потом, в далеком будущем проявится сполна, отдаст накопленное людям. Иначе говоря, писатель пытается понять, что из увиденного, пережитого и запомнившегося входит навсегда в «жизненный состав» героя, определяет его личность, призвание, судьбу.

Только в перспективе осуществленного будущего, с высоты достигнутого мог Арсеньев-рассказчик осмыслить и оценить все свои ранние, казалось, беспорядочные впечатления, метания и томления. Вот почему прибегает писатель к сложной манере повествования, объединяя детское и взрослое видение мира. Мы

входим в детство и юность героя не непосредственно, а ведомые Арсеньевым-повествователем, с высоты прожитой жизни осмысляющим истоки дней.

Вчитайтесь внимательно и попробуйте определить, чье восприятие, чей взгляд господствует в книге. Кто чувствует, видит и осмысляет мир? Арсеньев-ребенок, Арсеньев-юноша или Арсеньев-художник, проживший долгую жизнь? Не всегда можно отделить одно от другого. Особая форма повествования как раз и состоит в совмещенном, слитном аспекте восприятия, в своеобразном многоголосии, полифонизме, исходящем, однако, не от разных лиц, а от одного лица, Арсеньева.

Благодаря такому совмещению точек зрения мир реального детства предстает в книге как мир существовавший и прошедший, но не исчезнувший бесследно, а ставший воспоминанием. Богаче или беднее, достовернее или призрачнее стал так изображенный мир детства и юности? Однозначно ответить на это не мог бы сам автор. В чем-то, вероятно, беднее, бесплотнее, в чем-то гораздо ярче, богаче. Одно бесспорно: так воссозданный мир стал более объемным, глубинным, протяженным в прошлое и будущее, так как детское и юношеское восприятие совмещено со зрением и знанием зрелости, обогащено и выверено памятью и мудростью художника, подводящего жизненные итоги.

Мы попадаем в совершенно особый, удивительный мир — меняющийся, движущийся, разнообразный, исчезающий и одновременно целостный, единый, устойчивый в своей духовной основе, динамический и статический, замкнутый и распахнутый одновременно. Бунину удалось наконец передать то особое восприятие мира, которое мучило его всю жизнь, не поддаваясь воплощению, «уловлению» в слове.

Теперь мир, пропущенный сквозь разные грани сознания Арсеньева, предстает в своей до конца не разгаданной, но явно ощущаемой полноте и цельности — простоте и сложности, временности и вечности, предметно-чувственной материальности и духовности. Возникают и исчезают многообразно-неповторимые, преходящие мгновения, но след их остается в душе и памяти человека. Такое непрестанное одухотворение и осмысление внешнего мира, синтез природно-предметного окружения и внутреннего самосознания составляет, пожалуй, самую суть бунинского художественного метода.

Ну что, казалось бы, необычного в первых младенческих и детских впечатлениях Арсеньева — в блеске солнца, в бездонной глубине неба, в меняющем очертания высоком белом облаке, в хлебном рыжем жучке или в поездке с родителями в город? Но,

ведомые Арсеньевым-старшим, мы вместе с ним переживаем и осознаем те глубокие чувства, какие пробуждались, томили и обогащали ребенка даже на заре его дней: тут и одиночество, грусть разлуки, зов пространства и времени, стремление к неизведанному, сладость осуществленной мечты и страх, «что она почему-нибудь не осуществится», и восторг, первые радости земного бытия, радости от узнавания обычных вещей, растений, птиц, животных, их красок, форм, запахов, вкуса.

Детские впечатления, заурядные сами по себе, приобретают небывалый эмоционально-духовный резонанс, соотнесенные с опытом прожитой жизни и с земным существованием человека вообще. Взятые в таком сопоставлении и таком масштабе предметы и впечатления преобразуются. Первая поездка ребенка в город с родителями превращается в первое «путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех <...> последующих путешествий» (VI, 11). А елецкая колокольня Михаила Архангела возвышается «в таком величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить» героя «впоследствии пирамида Хеопса» (VI, 11). И даже коробочка ваксы становится необычной: «За всю мою жизнь не испытывал я от вещей, виденных мною на земле, — а я видел много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы» (VI, 11—12).

И так повсюду: обычные предметы, впечатления, события, факты озаряются светом памяти, сознания, чувств, и тогда наступает то глубинное обогащение, породнение личности с миром, которое на всю жизнь закрепляется как свой лично добытый опыт.

Каждая из 107 главок «Жизни Арсеньева» и воссоздает те переживания, те думы-чувства, которые рождались у героя при общении с природой, людьми, бытом, историей, литературой. Бунин пытается понять, как, когда и почему возникали у растущего человека чувства добра, справедливости, радости, горя, поэзии, чувства старины, родины, истории, страсть к путешествиям, к познанию мира и себя в нем. Не бесконечное разнообразие впечатлений, а глубина и богатство переживаний, откликов ума и сердца на окружающий мир интересуют писателя.

Мы видим, например, как впервые появляется, а затем все более усложняется, углубляется национально-историческое чувство и самосознание Арсеньева, его ощущение и осмысление России, русского характера, русской истории. Поездка в гимназию по старой Чернавской дороге, ворон и слова отца, «что вороны живут несколько сот лет и что, может быть, этот ворон жил еще

при татарах» (VI, 56), что этими местами проходил на Москву Мамай и что большая деревня Становая была недавно притоном разбойников и особенно прославилась страшным душегубом Митькой, — все это поразило воображение мальчика. «Татары, Мамай, Митька... Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознание, что я русский и живу в России, а не просто в Каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости, и я вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней...» (VI, 57).

Из таких встреч-озарений, «узнаваний», что запоминаются навек, и состоит подлинная жизнь личности, все остальное проходит механически-бесследно, исчезает в небытие.

Акцентирующий голос Арсеньева и помогает нам все время следить за этим сокровенным процессом породнения героя с миром. Мы узнаем, когда впервые почувствовал, «угадал», «вспомнил» ребенок мир средневековый, рыцарский или еще более древний — океанский, тропический, как заметил и навек полюбил он «дивную, переходящую в лиловое синеву неба», которую, и умирая, вспомнит.

А узнавание Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого? Это узнавание столь личное, «родственное», проникновенное, навеки неотделимое от героя, что о нем нельзя поведать иначе, чем словами самого Бунина. Главы, посвященные Пушкину, Гоголю, Лермонтову, Толстому, — лучшие страницы в мировой литературе о сокровенном воздействии словесного искусства на личность.

Бытовой и духовный опыт веков, опыт человеческой истории и культуры постепенно становится лично пережитым опытом Арсеньева.

Однако этот процесс узнавания мира и себя в нем предстает как необычайно сложный, запутанный, состоящий не только из обогащения и роста души, из «восхождений», но и из опустошающих душу провалов, метаний, заблуждений, ошибок.

Своеволие, высокомерие, неуправляемость страстей нередко отгораживали Арсеньева от людей, замыкали в самом себе, грозили гибелью, саморазрушением, если бы не наступало горестное отрезвление, очищающее страдание и раскаяние. И тут вновь помогает голос Арсеньева-старшего, с горькой трезвостью или недоумением повествующего о заблуждениях героя, о той стихии инстинктов, под властью которых вдруг оказывался ребенок или юноша. «Я был в детстве добр, нежен — и однако с истинным упоением зарезал однажды молодого грача с перебитым крылом»

(VI, 33). Самоосуждение звучит и в воспоминаниях Арсеньева об отношении к родным («тогда я думал только о себе») и особенно к отцу («все кажется, что недостаточно ценил и любил его. Всякий раз чувствую вину, что слишком мало знаю его жизнь, особенно молодость» — VI, 286). И самое скорбное, но слишком позднее осмысление своего пагубного эгоизма после потери Лики: «Мне казалось, что я так люблю ее, что мне все можно, все прощительно <...> Я слишком ценил свое “призвание”, пользовался своей свободой все беспутнее» (VI, 272—273).

Бунин не идеализирует героя, не изображает его путь ни прямым, ни фаталистически предопределенным. Арсеньев, как и всякий человек, — натура противоречивая. Он несет в себе не только хорошее, но и дурное. Он несет в себе достоинства и недостатки, свойственные и человеческой природе вообще, и русскому характеру, и барски-легкомысленному дворянству, и художнической натуре с ее повышенной впечатлительностью и обостренными чувствами. В эгоцентризме Арсеньева, например, сливаются и барское своеволие, и неустойчивость, «вольность» русского характера, и предельное своеволие художника. Так же сложна по составу его «кочевая страсть», в которой таится и собственное каждому человеку стремление к путешествиям, к обновлению впечатлений, и наследственный инстинкт степных кочевников, и страсть художника увидеть то, что владело его сердцем, его воображением. Биологически-природное, наследственное, национальное, социально-историческое и творчески-самобытное — вот из каких сложных основ и напластований состоит личность Арсеньева. И трудно отделить одно от другого.

Но при всей многосоставности, текучей сложности и конечной неразгаданности личности, что делает ее отличной от других, что определяет ее индивидуальный путь в мире?

История Арсеньева рассказана так, чтобы мы сами поняли, как невероятно трудно человеку (даже сверходаренному) найти себя, свое призвание, и чтобы мы все-таки уловили ту направляющую силу, которая определяет путь Арсеньева при всех его метаниях, разнонаправленных желаниях и столкновениях с многообразной действительностью.

«Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб, их окружающих» (VI, 93), — замечает автор, комментируя решение Арсеньева покинуть гимназию. Но тут же столь категорическое суждение о роли случая в судьбе героя разрушается, корректируется. Уход из гимназии, переселение в родное Батурино, во многом определившее дальнейшую судьбу Арсеньева, имело корни более глубокие. «В самом деле, — раз-

мышляет Арсеньев-писатель, — многое сложилось против моего казенного учения: и та «вольность», которая была так присуща в прежние времена на Руси далеко не одному дворянству и которой немало было в моей крови, и наследственные черты отца, и мое призвание «к поэзии души и жизни», уже ясно определившееся в ту пору, и, наконец, то случайное обстоятельство, что брата сослали не в Сибирь, а в Батурино» (VI, 94). Роль случая отодвигается уже на последнее место, кое и подобает ему, ибо это лишь повод, внешний толчок для поступка, истинные причины которого коренились в глубинах формировавшейся природы Арсеньева. Судьба Арсеньева, как и любой личности, зависит от многих постоянных и переменных величин, среди которых и личные склонности, влечения, страсти, и мощь дарования, и сознательные цели, установки, выдвигаемые личностью, и то упорство, с каким человек выверяет, обогащает и отстаивает свой путь, свое назначение. И, конечно, тысячи непредвиденных обстоятельств, в соприкосновении и столкновении с которыми оттачивается и выверяется духовная сила человека.

Случайно-переменными являются события, люди, встречи, даже занятия (подчас независимые от самой личности), а постоянными и во многом решающими становятся те внутренние состояния, переживания и устремления, которыми сопровождаются и завершаются те или иные события. По существу, все жизненные контакты Арсеньева с миром выверяются в книге не делами и даже не поступками, а составом и качеством переживаний героя, то есть внутренними реакциями личности на происходящее. Тем, что обогащало, расширяло границы личности, соединяло с большим миром, или, наоборот, опустошало, сбивало с истинного пути, но тоже входило в духовный опыт как опыт заблуждений, как своего рода предостережения.

При внешнем сходстве с Прустом (пристальное внимание к переживаниям, настроениям и ощущениям личности) Бунин иначе изображает внутренний мир героя. Не самоценность любых впечатлений, чувств и воспоминаний господствует в книге, не прихоть памяти и ассоциаций, а их духовная значимость для развития Арсеньева — человека и художника. Если у Пруста герой отчужден от мира, отгорожен и всегда одинок, то у Бунина, наоборот, герой породнен с миром. Эволюция Арсеньева — это как раз история все большего освоения им мира. И хотя Арсеньев нередко испытывает одиночество, но это одиночество особого толка — одиночество творческого человека, всегда острее и богаче воспринимающего мир, всегда ищущего все большей гармонии с людьми и миром. Это — стремление «любить весь мир» и

вновь отдать его кому-то, о чем писал Бунин-поэт: «Я должен взять — и, разгадав, отдать. Мне кто-то должен сострадать...»

«Вы, как говорится в оракулах, слишком вдаль простираетесь...» (VI, 151). Эти слова Балавина, высказанные как предостережение герою, являются одновременно символически-прооческими. Не случайно Арсеньев, пытаясь понять, в чем смысл и цель его жизни, повторяет эти слова и заключает: «И впрямь: втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом?» (VI, 153).

Мы привыкли следить за поступками и делами людей, за их социально-нравственным поведением. Меж тем Бунин, как будто нарочно, исключает Арсеньева из практической деятельности и даже из сферы социальной. В книге вскользь говорится о службе Арсеньева в орловской газете «Голос», о его работе в земском статистическом управлении. Более того, его отпугивает всякая практическая жизнь — хозяйственная, служебная, гражданская, даже семейная. Арсеньев взят на ином — непривычном для нас — уровне отношений с миром: не практика, а созерцателя, поэта, философа, целиком поглощенного своими эмоциями, думами, осмыслением мира и себя в нем. Отчасти это объясняется характером дарования Арсеньева («поэзия души и жизни»), но во многом и позицией самого Бунина, пытавшегося осмыслить не столько социально-конкретные связи человека с текущим временем, сколько самую суть и смысл человеческого существования вообще. Арсеньев, конечно, не выключен из своего времени, он — дитя своего века. Но проблемы, главенствующие в книге, — не социально-нравственные, а проблемы экзистенциональные, сущностные, вставшие в XX веке вровень с социально-политическими. Бунин стремится разгадать, «что такое жизнь (моя и всякая)» и что такое индивидуальная судьба, формирование художника.

Лишенный конкретных социально-гражданских ориентиров, Арсеньев подчиняется в основном влечениям, пристрастиям и зовам своей богатой природы. Он живет под властью двух стихий — природно-биологической и духовно-эстетической. Социальные, гражданские границы его личности размыты, а гипертрофированы его телесно-чувственные, эмоционально-эстетические и духовные реакции. Самоуглубление Арсеньева нередко принимают за индивидуализм, эгоцентризм, эстетизм, видят в нем чуть ли не равнодушие к людям, народу. Однако позиция молодого Арсеньева гораздо сложнее, она несводима ни к индивидуализму, ни к эстетизму.

Чтобы уяснить мировоззрение и ценностные ориентации Арсеньева, надо не выхватывать отдельные высказывания героя, а проследить за тем, что среди людей, природы, вещей и искусства ему близко, родственно, что чуждо, враждебно или мучительно своей сложностью, неразгаданностью, что влечет его, а что оставляет равнодушным. Тогда мы заметим, что юноша мало внимателен не только к социальным бедам, но и к своей собственной житейской неустроенности, к материальной необеспеченности. Он дорожит больше всего духовной свободой, высокими устремлениями и переживаниями, этическими и эстетическими.

Равнодушный к конкретно-временным проблемам жизни — бытовым, материальным, Арсеньев близок нам своими напряженными духовными исканиями, неуспокоенностью, ощущением долга, высокой ответственности за свой талант, свое писательское призвание. Он ищет гармонии с миром, полноты и смысла бытия через себя, но не только для себя. Познание и творчество, «поэзия души и жизни» — самые властные основы его натуры — отгораживают его от людей, но и объединяют с ними, объединяют эстетически и гуманистически, высшими идеалами любви, радости и красоты. Не случайно Арсеньев так характеризует себя в своих записях: «Я, конечно, не толстовец. Но все-таки я совсем не то, что думают все. Я хочу, чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали любовь, радость, и ненавижу только то, что мешает этому» (VI, 242).

Не потому ли так много врагов у Арсеньева, что он обостренно чувствует несовершенство людей, всякую фальшь, пошлость, кастовую замкнутость, все лишнее творческого, а значит, и жизненного потенциала?

Среди его врагов — люди разных сословий и убеждений. Ему одинаково ненавистны и самоуверенный, высокомерный Вадим Лопухин, пошляк и циник, организатор кружка гимназистов-дворян, и полицейский пристав («сильное сорокалетнее животное во всей его воинской сбруе»), и безработный актер, «мнивший себя, конечно, большим талантом» (VI, 218, 224), и участники любительского драматического кружка, и еще много других людей, чуждых ему главным образом своим духовным убожеством, фальшью, притворством или догматизмом, косностью, односторонней и высокомерной назидательностью, как мещанин Ростовцев, или доктор, отец Лики, или некоторые участники харьковского народнического кружка.

Наоборот, близки, интересны Арсеньеву люди самобытные, незастигшие, сложные, несущие в себе неразгаданную стихию жизни. Среди них — тоже люди самые разные: отец, воспитатель

Ромашков, Балавин и такие эпизодические фигуры, как острожник, босьяк, цыганка и многие участники того же харьковского кружка.

Таким образом, эмоционально-ценностные пристрастия Арсеньева находятся не в сфере социально-гражданской, хотя он и не лишен обычных чувств социальной справедливости, ему близки Радищев и Толстой с их состраданием к человеческому горю и ненавистью к «мироправителям тьмы», ему близки и общие идеалы народников. Но его собственные пристрастия принадлежат к другой сфере — духовно-творческой. Ему одинаково чуждо косное самодовольство, ограниченность и догматизм как среди господствующих кругов, так и среди мещан, крестьян, либеральной или радикальной интеллигенции.

Мировосприятие Арсеньева как наиболее живое, творческое, богатое Бунин противопоставляет не только радикально-народническим догмам, но и вообще всему нормативному, застывшему, догматически-прямолинейному и рационалистически-одностороннему.

«Образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания — какое это редкое счастье — и какой душевный труд!» (VI, 229). Вот, пожалуй, самые ключевые слова, с редкой точностью определяющие подвижническую суть призвания художника, и Арсеньева в том числе. Однако Арсеньев, молодой, начинающий писатель, не осознает, не понимает этого. Он мучается в поисках того, о чем писать, он находится еще в младенческой стадии удачно найденных подробностей, он живет «острой и злой наблюдательностью», радуется, когда замечает, что «вечер синел, как синька», что уши у собачки «совсем как завязанный бант», а у нищего — «жидко-бирюзовые глаза застарелого пьяницы и огромный клубничный нос». Иногда эту зоркость Арсеньева принимают за эстетическую позицию самого Бунина, будто бы щеголяющего своей изощренной изобразительностью. На самом деле Бунин как раз отделяет себя от молодого Арсеньева, показывая, что сама по себе зоркая наблюдательность и даже эстетическое любование миром еще не превращаются в искусство. Арсеньев не может еще стать писателем, ибо не выстрадал, не взрастил себя как человека, не обрел еще той духовной окрыленности, своего духовно-нравственного отношения к миру, говоря словами Л. Толстого, которое только и превращает удачно найденные подробности в живое слово искусства. Недаром Бунин заставляет молодого Арсеньева отказаться от сочинения рассказов, герой делает только записи, заметки, наброски.

Трудный процесс становления Арсеньева не завершён в книге. Мы видим его все время в пути, в самоосмыслении и даже борьбе с самим собой. Роман с Ликой, горестная утрата любимой женщины — ещё одно доказательство человеческой незрелости, духовной неподготовленности Арсеньева к жизни и творчеству.

Рисуя взаимоотношения Арсеньева и Лики, трагедию их любви, Бунин раскрывает и несогласованность их «жизненных миров», и эгоизм, индивидуализм, даже деспотизм Арсеньева, слишком ценившего свое призвание, свою свободу, считавшегося только со своими желаниями. Оказалось, что любить, объединить свою жизнь с другой личностью — не менее трудно, чем найти и осуществить свое призвание.

Отстаивая право человека на самобытность, на развитие своих способностей, Бунин подошел к уяснению тех, может быть, самых таинственных, интимно-психологических рубежей, которые разделяют даже близких людей, мешают их взаимопониманию и счастью. Книга заставляет нас ощутить, что жизнь, творчество и любовь — родственные и взаимосвязанные явления, осуществимость которых зависит и от общего состояния мира, и от личных усилий каждого человека.

Бунин значительно расширяет наши представления о человеке и его связях с миром. Но взыскательный художник, до болезненности чуткий к любому фальшивому звуку в искусстве, он, естественно, не претендует на разрешение всех тайн и загадок бытия, жизни Арсеньева в частности. Бунин делится с нами своим итоговым опытом, приглашая вместе с ним удивиться, порадоваться миру и подумать о жизни, в которой далеко не все ясно, просто, легко разрешимо. Многие оставались неясным самому художнику. Многие предстоит распутать, разгадать будущим поколениям. Духовное пространство книги не замкнуто жизнью героя, оно распахнуто в далекое будущее, как и всякое большое искусство.

Обращение к «вечным» общечеловеческим проблемам жизни, смерти, любви и творчества в «Жизни Арсеньева» и книге «Освобождение Толстого» (1937) не замкнуло Бунина в сфере искусства. С присущей ему внутренней страстью он следил за историческими и политическими событиями 1930-х годов. С ненавистью и презрением говорил он о фашистской диктатуре Гитлера и Муссолини. И все росло желание художника вернуться на Родину. 8 июня 1941 года он писал своему старому другу Н. Телешову: «Я сед, сух, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой» *.

* Литературное наследство. М., 1973. Т. 84. Кн. 1. С. 623.

В годы оккупации Франции Бунин жил в Грассе, голодал, очень нуждался (Нобелевская премия, полученная в 1933 году, была уже израсходована). Но он упорно отвергал все предложения сотрудничать в фашистской прессе. А сам много работал, читал, писал.

«Темные аллеи», «Натали», «Речной трактир», «Холодная осень», «Чистый понедельник» — 1938, 1941, 1943, 1944-й. Странным может показаться обращение Бунина к любовным коллизиям в самые тягостные и кровопролитные годы XX века, годы наступления фашистских орд на Европу и Россию. Странно? Только для беглого и поверхностного взгляда. Для писателя это было внутреннее сражение, единоборство с тем злом, которое захлестывало мир. В годину тяжких испытаний и невиданных жестокостей Бунин напоминал людям о любви, о самом высоком и прекрасном.

Зверствам фашистов, их бредовым теориям о превосходстве арийцев и ничтожестве славянских народов Бунин противопоставлял силу, стойкость и красоту русской души, духовное величие и благородство русской женщины, умеющей любить и беззлобно отстаивать свое достоинство, хранить верность самым высоким идеалам. «Разве бывает несчастная любовь?.. Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья?» (VII, 170). Всякая настоящая любовь — великое счастье, но нередко и трагедия. Такой любовью-трагедией была для Бунина Россия. И он особенно страдал, когда на русскую землю вступили гитлеровские войска. В далеком оккупированном фашистами Грассе он напряженно следил за сражениями русских, делая отметки на огромных картах Советского Союза, развешенных в его кабинете. Он ловил сведения из вражеских газет и радиопередач, когда удавалось, слушал сводки Советского информбюро, расспрашивал военнопленных — сопоставлял, искал правду среди многих ложных сообщений, страдал, негодовал, отчаивался и радовался, когда узнавал о победе советских войск.

О накале его чувств говорят записи в дневниках военных лет, по-бунински краткие, сдержанные, пронзительно-емкие.

1941. «Страшные бои русских и немцев. Минск еще держится». «Взят Витебск. Больно». «Во время обеда радио: взята Полтава. В 9 часов: взят Киев. Взято то, взято другое... Что дальше? Россия будет завоевана? Это довольно трудно себе представить». «Самые страшные для России дни, идут страшные бои — немцы бросили, кажется, все свои силы». «Русские атакуют и здорово бьют». «Русские взяли назад Ефремов, Ливны и еще что-то».

«Прекрасный солнечный день. Русские взяли Керчь и Феодосию».

1942. «Полнолуние. Битвы в России. Что-то будет? Это главное — судьба мира зависит от этого...». «Шестого июля объявили, что взят Воронеж. Оказалось — брехня: не взят и посегодняя». «Взят Новороссийск. И все-таки думаю — вот-вот будет большое и плохое для немцев...». «И с Царицыном и с Кавказом немцы все-таки жестоко нарвались. Последние дни им просто нечего сказать: берем дом за домом...».

1943. «Взяли русские Курск, идут на Белгород. Не сорвутся ли?» «Часто думаю о возвращении домой. Доживу ли? И что там встречу?»

1944. «Все думаю: если бы дожить, попасть в Россию! А зачем? Старость уцелевших... кладбище всего, чем жил когда-то...». «Взят Псков. Освобождена уже вся Россия! Совершенно истинно гигантское дело!» *

Освобождение Франции и победу Советской Армии Бунин воспринял как великий праздник. Бунин следил за новинками советской литературы, высоко отзывался о рассказах К. Паустовского и особенно восторженно о поэме А. Твардовского «Василий Теркин». Но вернуться на Родину отказался.

Доживая последние годы почти в нищете, Бунин продолжал упорно работать. Писал книгу «О Чехове», составлял «Литературное завещание», заново редактировал все свои сочинения в слабой надежде, что они будут когда-нибудь изданы.

Бунинское слово осталось нетленным. Оно вошло в ту сокровищницу прекрасного и вечного, что именуется искусством и к чему всю жизнь стремился художник.



* Устами Буниных. Frankfurt/Main, 1982. Т. 3. С. 101, 104, 111, 114, 121, 124, 129, 138, 139, 142, 147, 148, 161, 166.